

Введение	4
I. На старте	5
II. Первые достижения	16
III. Директор факультетской терапевтической клиники	42
IV. Московский оригинал	67
V. Претендент на титул лучшего врача страны.....	95
VI. Несостоявшийся лейб-медик.....	117
VII. Отставка	138
VIII. Захарьинские миллионы.....	174
IX. Великий филантроп.....	190
X. На финише	220
Примечания	230
Указатель имён	256

II.

*Первые достижения**Я не волшебник, я ещё только учусь...**Евгений Шварц. «Золушка»*

В августе 1847 года Захарьина зачислили на первый курс медицинского факультета Московского университета. К тому времени «золотой век» попечительства графа Строганова приблизился к неизбежному концу. Уже 25 ноября 1847 года либерального графа сменил его недавний помощник — казённый педант Голохвастов.

Через год революционная ситуация в Европе побудила российские власти срочно ввести в действие новые инструкции о порядке обучения и усилении надзора за учащимися, отменить преподавание ряда гуманитарных дисциплин, в том числе государственного права других стран, возложить на профессоров богословия чтение лекций по логике и психологии, а заодно повысить плату за высшее образование. Министр народного просвещения даже изготовил для императора специальный доклад о вредоносных последствиях изучения философии и для студентов, и для всей державы. Российское просвещение, которое нуждалось ещё, как писал Соловьёв, в тепличных условиях, «вынесенное на мороз, свернулось». В сановных кругах принялись негромко обсуждать умело запущенные в общество слухи о целесообразности закрытия университетов — рассадников вольнодумства и потенциальной крамолы. На всякий случай в 1849 году профессору обязали заранее готовить подробные программы лекций для предварительного рассмотрения их начальством. Вплоть до 1855 года над университетской жизнью нависли «тяжёлые сумерки» последнего периода царствования Николая I — «времени покоя и тишины, покоя мертвенного и тишины кладбищенской», когда всякую живую мысль считали преступной, а самую умеренную жалобу — бунтом.¹

При таких обстоятельствах от учащихся требовали в первую очередь примерного поведения и отменного прилежания, а вовсе не остроты

ума и непредвзятости мышления. для получения же врачебного диплома студенту нужна была особая, цепкая, натренированная зубрёжкой память, поскольку в медицине середины XIX века, не пустившей ещё ни физиологических, ни биохимических корней и во многом догматической, проникновение в суть явлений подменялось обычно механическим заучиванием внешних признаков той или иной патологии. для характеристики того периода лучше всего, наверное, подходило старинное латинское изречение: *Сколь мало нужно разума, чтобы овладеть медициной.* Как заметил Боткин, окончивший Московский университет в 1855 году, «будущность наша уничтожалась нашей школой, которая, преподавая нам знание в форме катехизисных истин, не возбуждала в нас той пытливости, которая обуславливает дальнейшее развитие».²

В университете

По отчётам о состоянии и действиях Императорского Московского университета с 1848 по 1851 годы, Григорий Захарьин выделялся поведением очень хорошим и успехами в науках отличными; более того, на третьем курсе он удостоился похвального отзыва за сочинение на латинском языке «О происхождении лихорадки». О тех же его качествах шла речь и в аттестате, выданном ему 4 сентября 1852 года за подписями ректора и декана: «При отличном поведении, окончив курс по медицинскому факультету, допущен был к испытанию прямо на степень Доктора Медицины, но не представил ещё диссертации для окончательного утверждения его в той степени; определением же Университетского Совета, 10 июня сего года состоявшимся, согласно его прошению, утверждён в степени лекаря с предоставлением ему права, по защите диссертации, получить без экзамена степень Доктора Медицины».³

Потребность быть не просто первым учеником, а лучшим на счету начальства объяснялась не только и, наверное, не столько честолюбием молодого способного провинциала, сколько скудостью его материальных ресурсов. Формально от начала и до конца обучения в университете он оставался своекоштным студентом, иначе говоря, находился на собственном содержании и сам оплачивал своё образование; фактически же сомнительно, чтобы его вконец обедневшие родители могли помогать ему регулярно, да ещё в достаточной мере из своих мизерных средств. Наиболее вероятно, что постоянную поддержку, в том числе и финансовую, ему оказывал брат его матери — заслуженный ординарный профессор химии Московского университета и член Московского отделения Мануфактурного Совета Родион Гейман.

Более чем скромное существование в юности не могло не отразиться на характере и привычках Захарьина. во всяком случае его безвестный биограф из газеты «Московские Ведомости», тщательно избегавший какого-либо упоминания о родственниках Захарьина с материнской стороны, предложил свою вполне приемлемую трактовку формирования своеобразного комплекса отличника у будущего медицинского авторитета: «Очутившись в Московском университете с крайне скудными средствами, среди бедной студенческой обстановки, без родных и знакомых, он отдался всецело изучению медицины и усердно занялся дополнением своего образования самым разнообразным чтением. Невольное отчуждение от столичного общества с его лоском, манерами, хорошими и дурными влияниями, на всю жизнь наложило отпечаток оригинальности на умного самолюбивого юношу, выросшего в бедной провинциальной ученической квартире».⁴ Буквально в тех же самых словах, только без кавычек, описал становление личности Захарьина и один из его советских биографов.⁵

Вместе с тем стремление показать себя с наилучшей стороны подстёгивало ощущение (несмотря на молодость, надо полагать, достаточно осознанное), что для успешной карьеры ему, неимущему провинциалу, жизненно необходима солидная протекция. Главным его благодетелем со дня приезда в Москву оставался наиболее близкий родственник Родион Гейман; не случайно именно ему посвятил Захарьин свою докторскую диссертацию. Профессор Гейман — фигура достаточно заметная и в университете, и в городе — старался, конечно, всячески помогать почтительному племяннику, но теперь его содействия уже не хватало. И тогда в качестве явного покровителя Захарьина выступил директор терапевтического отделения факультетской клиники Овер.

Современники единодушно признавали Овера светилом медицинского факультета. Чрезвычайно изысканный господин с несколько надменным выражением красивого лица и манерами очень важного барина, на мундире которого пестрело не менее трёх десятков наград разных государств, а через плечо извивалась зелёная лента персидского ордена Льва и Солнца, Овер отличался замечательной эрудицией и уникальной



2.1. Профессор факультетской терапевтической клиники Московского университета А.И. Овер.

способностью чуть ли не с первого взгляда, почти интуитивно распознавать болезни.⁶

Самый энергичный и самый преуспевающий московский врач, целиком поглощённый колоссальной частной практикой, да ещё подготовкой четырёхтомного атласа (по материалам многолетних клинко-анатомических сопоставлений), он, однако, откровенно манкировал профессорскими обязанностями. В свою клинику он врвался всегда неожиданно, не чаще одного-двух раз в месяц, хотя по программе должен был заниматься преподаванием девять часов в неделю, с окружающими держался высокомерно, с адъюнктом бывал до неприличия резким и накопленными знаниями со студентами в сущности не делился, если не считать пяти-шести случайных лекций в семестр, прочитанных звонким сердитым голосом на блистательном, но малопонятном для большинства слушателей латинском языке.

Спустя много лет бывшие выпускники Московского университета Белоголовый и Боткин вспоминали терапевтическое отделение факультетской клиники с чувством трудно скрываемой досады. Первый считал клинику Овера «малонаучной и непитательной», порождавшей у студентов чувство неудовлетворённости, тогда как второй изъяснялся более сдержанно: «Профессор Овер, несмотря на свой бесспорно большой талант практического врача, к сожалению, не мог передать нам своего инстинктивного искусства узнавать и лечить больных и потому не имел достаточного влияния на наше развитие». Вслед за ними, но более неприязненно высказался Сеченов, назвав Овера «особой, увешанной несметным количеством орденов, но не показывавшей и носа в свою клинику».⁷

Почему этот в сущности чёрствый человек, не помнивший по фамилии ни одного студента и отнюдь не увлечённый педагогической деятельностью, задержал вдруг свой холодный пристальный взор на Захарьине, неизвестно. Можно лишь предполагать, что однажды он пошёл навстречу просьбам или уговорам коллеги, Родиона Геймана, либо его тестя, Григория Фишера фон Вальдгейма, знавшего Овера с детства и оказывавшего ему «нравственную поддержку в тяжёлых обстоятельствах».⁸ Так или иначе, но 10 июня 1852 года Овер подал в Совет университета прошение: «*На открывшуюся вакансию ассистента вверенного мне отделения, находя вполне достойным студента Григория Захарьина, выдержавшего в минувшем мае месяце экзамен на степень Доктора Медицины, честь имею покорнейше просить Совет Университета исходатайствовать ему определение в означенную должность*».⁹ Поскольку в тот день Совет университета утвердил Захарьина в степени лекаря, нельзя исключить, что решение предоставить место ассистента вчерашнему студенту, только что получившему звание докторанта,

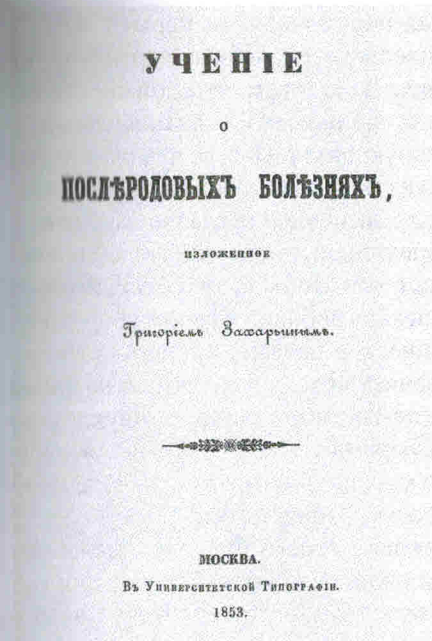
возникло у Овера внезапно и своё прошение он написал всё на том же заседании Совета.

Вопрос о назначении новоявленного выпускника Московского университета на скромную должность ассистента требовал, однако, всестороннего рассмотрения и согласования. Всякой официальной бумаге надлежало перемещаться от чиновника к чиновнику степенно и с оглядкой, а не вприпрыжку, как в странах, где полагают, что время — деньги. Не удивительно поэтому, что лишь в конце декабря 1852 года попечитель Московского учебного округа уведомил ректора: «*Высочайшим Приказом по Гражданскому Ведомству 3 сего декабря лекарь Захарьин определен ассистентом Терапевтического Отделения Факультетской Клиники Московского Университета*».¹⁰

В клинике Овера

Когда томительное ожидание резолюции высокого начальства закончилось, и Захарьин получил наконец и место в клинике, и казённую квартиру, и первое жалованье в размере двухсот рублей серебром в год, настала пора срочной подготовки докторской диссертации. В 1853 году девяностостраничныйopus «Учение о послеродовых болезнях, изложенное Григорием Захарьиным» вышел в свет на русском языке с посвящением достопочтенному дяде Родиону Гейману.

Тут же выяснился, кстати, ещё один университетский покровитель Захарьина, поскольку в самом начале своего исследования диссертант написал: «*Пользуюсь случаем выразить публично полную признательность моему высокоуважаемому профессору, Алексею Ивановичу Полунину, не отказавшему мне в своих советах*».¹¹ Внешний вид и манеры ординарного профессора Полунина, возведённого впоследствии в ранг одного из основоположников патологической анатомии в Российской империи, придавали ему удивительное сходство с обычным сельским дьячком: «Маленький, лысый с зачёсанными вперёд жиденькими висками, в допотопном фраке, он ходил как-то особенно, как будто подпрыгивая на каждой ноге и вместе с этим раскачиваясь в стороны, и всею своею фигурою напоминал семинарию, хотя, кажется, вовсе и не был семинаристом. Голос его был похож отчасти на гусиный, а говорил он, словно упирая на букву “о” и почти к каждому слову прибавляя частицу “с”, даже во время чтения лекций».¹² Чрезвычайно аккуратный в исполнении своих обязанностей, студентов пятого курса он обучал патологической анатомии, второго курса — патологической физиологии, а третьего курса — общей терапии. Для него было, по-видимому, не так уж и важно,



2.2. Титульный лист докторской диссертации Г.А. Захарьина (1853).

что преподавать, лишь бы возвышаться на кафедре и ежегодно читать по засаленной пожелтевшей тетрадке одни и те же бесполезные для студентов лекции.

Невозможно даже предположить, почему этот невзрачный, тщеславный и довольно холодный человек взялся протезировать вчерашнему студенту. За истечением срока давности, как говорят юристы, невозможно также ответить на вопрос, почему Захарьин принёс свою благодарность не родителям, не учителям и даже не директору клиники, а трудолюбивому схоласту Полунину, совершенно лишённому, по словам Белоголового, «того священного огня», который всегда озаряет деятельность крупных учёных и педагогов. Не исключено, впрочем, что Захарьин просто заискивал перед Полуниным, поскольку тот

пользовался безусловным влиянием в Совете университета, да ещё редактировал «Московский Врачебный Журнал».

Перевод напечатанного трактата на латинский язык затянулся на несколько месяцев, из-за чего публичная защита диссертации под названием «*De puerperii morbis in genere atque de peritonitide puerperali in specie* (О послеродовой болезни вообще и послеродовом перитоните в особенности)» состоялась только 5 июня 1854 года.¹³ По миновании летних каникул Захарьин счёл полезным для будущей карьеры обзавестись ещё и другими дипломами и аттестатами.

После испытания его практической сноровки (судебно-медицинского исследования тела московского мещанина, который повесился в полицейском участке) он выдержал экзамены по судебной медицине, медицинской полиции и эпизоотическим болезням и 14 ноября 1854 года был удостоен звания уездного врача.¹⁴ Через месяц он сдал экзамены по теоретической и практической хирургии (в частности, показал на трупе, как следует производить резекцию стопы, и вылушил атерому на лице пятилетнего ребёнка, помещённого в хирургическую факультетскую клинику) и 15 декабря того же 1854 года был утверждён в звании оператора.¹⁵

X.

На финише

*Меня утешает, что я оставляю тебе
прожжённые души, дырявые души, мерзкие
души. А впрочем, прощай!*

Евгений Шварц. «Дракон»

В середине октября 1897 года Захарьин испытал чрезвычайное эмоциональное потрясение, когда студенты четвёртого курса наотрез отказались посещать объявленный им факультативный цикл лекций. Для любого гневливого пожилого человека, у него, по всей вероятности, давно существовала артериальная гипертензия. На фоне этой патологии скоропреходящие приступы головокружения, впервые возникшие у него через два месяца после октябрьской волны негативных переживаний, следовало рассматривать как предвестники инсульта. К такому выводу он и сам пришёл, когда однажды у себя дома очнулся после непродолжительной потери сознания. Тогда он послал за нотариусом и священником, продиктовал и подписал завещание, затем исповедался, причастился, попрощался с близкими и 23 декабря 1897 года в 20 часов 30 минут скончался от апоплексического удара.

На панихиде 24 декабря кроме вдовы и детей присутствовали бывший попечитель Московского учебного округа граф Капнист, ректор Московского университета Некрасов, медицинский персонал факультетской терапевтической клиники и два профессора — Голубов и Попов. На гроб возложили несколько венков от учеников Захарьина и крупных преподавателей. Телеграфные соболезнования вдове прислали московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович, сенатор Аппунтин (близкий родственник супруги Захарьина) и профессор Э. Лейб из Берлина. Тело покойного 25 декабря отправили на лошадях в деревню Химки. Утром 27 декабря местные крестьяне доставили гроб в село Куркино, где в тот же день состоялись похороны. На погребение прибыл

НА ФИНИШЕ



Часовня, построенная по проекту
В. Шехтеля.

из Москвы родственники почившего, профессора Голубов и Попов и часть сотрудников факультетской терапевтической клиники.¹ Столь неожиданную для современников скромность ритуальных обрядов биографы Захарьина порывались объяснить впоследствии его собственным пожеланием.

Медицинский факультет чуть ли не в полном составе на панихиду и похороны своего коллеги не явился. Не было там и банкира Полякова, и попечителя Московского учебного округа Боголепова, и помощника ректора Московского университета Зверева, и других официальных лиц. «Разногласия Захарьина с университетом, — вспоминал позднее профессор Шервинский, — сказались и в том, что его отпевали не в уни-

верситетской церкви, как всех скончавшихся профессоров, а в приходской церкви Адриана и Натальи, что на Первой Мещанской».²

Накго упрекнув московских врачей, презиравших Захарьина последние годы, студентов и преподавателей Московского университета, назвавших покойного своим неуважением, и журналистов, выступивших в прессе с нелестными некрологами, газета «Московские Ведомости» решила не тревожить больше память усопшего: «Он заслужил покой, которого в жизни своей почти не знал».³ Его действительно оставили в покое — в брезгливом покое забвения как спесивого деспота, сатрапа провинциального ведомства, основоположника московской врачебной школы и статкратства.

Через десять лет после его смерти газета «Московские Ведомости» грустною констатировала: «Ни со стороны близких ему, ни со стороны его учеников-врачей, ни со стороны университета не сделано ничего, чтобы воздать память человека, в течение 35 лет украшавшего Московский университет своим преподавательским талантом».⁴ В декабре 1912 года медицинский факультет обратился в Совет Московского университета с разрешением увековечить память 35 умерших профессоров, помещая их портреты в соответствующих клиниках и аудиториях; фамилии Захарьина в том списке не было.⁵ Спустя почти четыре года медицин-

ская печать, не скрывая своего разочарования, констатировала, что Захарьина процветает, и «профессорские торговые лавочки по твердым ценам» по-прежнему открыты и ждут доверчивых посетителей.⁶ Как иронизировал однажды Ницше, «когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чём-то чудовищном — о кризисе, которого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, принятом против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным».

В первые десятилетия после октябрьского переворота о Захарьине высказывались редко и, как правило, непочтительно. Его называли прирождённым консерватором и даже «воинствующим реакционером», известным сребролюбцем и почему-то лейб-медиком Александра III. Нарком здравоохранения РСФСР Семашко и его заместитель Соловьев видели в Захарьине врача хоть и одарённого, но излишне увлечённого частной практикой, подлежащей искоренению «как пережиток капиталистического строя». Основной задачей советской медицины считалась в те годы «не подлечивание инвалидов труда», а оздоровление всех трудящихся посредством социальной профилактики, широкого применения диспансерных методов обследования и лечения и «классового подхода к первоочередному обслуживанию городского пролетариата и беднейшего крестьянства».⁷ Особое негодование у вождей советского здравоохранения вызывал поэтому захарьинский принцип строго индивидуальной диагностики и лечения больных.

Все изменилось в конце 1940-х годов, когда в стране развернулась беспощадная борьба за отечественные приоритеты и в науке, и в технике, и в медицине. Теперь биографы Захарьина поспешили возвести его в ранг выдающегося учёного, одного из самых великих терапевтов всех времён и народов, крупного организатора, который способствовал, оказывается, выделению педиатрии и гинекологии, оториноларингологии и неврологии, бактериологии и даже ортопедии в разряд самостоятельных учебных и научных дисциплин. Одиозного когда-то профессора объявили основоположником российской курортологии и бальнеологии, физиотерапии и общественной гигиены. Не удалась только робкая попытка провозгласить его родоначальником отечественной микологии.⁸ Зато энциклопедия «Москва» сообщила, что он был «близок к кружку Грановского», а в его гостеприимном доме собирались представители московской общественности, писатели и актёры.⁹ Но самым оригинальным достижением в мифологизации Захарьина стало предложение открыть мемориальную доску на фасаде доходного дома №20 по Кузнецкому мосту, где он якобы проживал до безвременной своей кончины.¹⁰



Fig. 1. Ordinary professor N.F. Golubov (in the center) with his colleagues in the lecture hall of the faculty of therapy of Moscow University (1912).

Судьба его лучших учеников особого интереса у советских историков медицины не вызвала. Голубова удостоили, впрочем, трёх статей в медицинских журналах и одной — в третьем издании Большой медицинской энциклопедии, где некоторые факты его биографии исказили, но не максимально. Обрывочные сведения о Попове были напечатаны лишь однажды, в 1926 году в сборнике, посвящённом 150-летию клинической больницы 1 МГУ (прежде Новоекатерининской, а позднее городской клинической №24).

На похоронах Захарьина 27 декабря 1897 года Голубов произнёс надгробную речь: «Дорогой друг, здесь, у твоей могилы, обещаю тебе, что не зарюю в землю тех талантов, которые получил от тебя! Помню, не забуду никогда наши бесчисленные научные и философские беседы, которые способствовали развитию и укреплению духа, убеждений. Дорогой друг, дорогой брат, как ты называл меня и как звал меня последний раз перед самой твоею кончиной, даю тебе слово всегда быть стойким в убеждениях, идти всегда прямыми путями, не отступая перед опасностью!»¹¹

Свои обещания Голубов не забыл и навсегда остался, по его выражению, «верным паладином своего знаменитого учителя», а по словам либеральной печати, «не в меру усердным панегиристом Захарьина».¹² Толь-

ко не в пример его наставнику, постоянно размышлявшему о будущем преуспейании Российской империи под влиянием ежедневного чтения «Московских Ведомостей», Голубова не волновали проблемы внутренней и внешней политики. Ему по-прежнему нравилось писать; поэтому периодически размещал в медицинской печати свои врачебные наблюдения и умозаключения (в частности относительно «эпидемической природы» аппендицита), не вызывавшие у современников никакого интереса, а позднее стал главным биографом Захарьина. Помимо того Голубов завёл себе в качестве хобби созерцание звёздного неба и даже оказался одним из учредителей Московского общества любителей астрономии.

Он вёл размеренную жизнь сверхштатного профессора (до апреля 1909 года экстраординарного, а затем ординарного), получая в положенные сроки очередные чины и ордена, зарабатывал частной практикой, принимая больных трижды в неделю у себя дома на Большом Конюшковском переулке, и постепенно скопил значительное (по его мнению) состояние. Соблюдая заветы своего босса, деньги он держал на текущих и специальных счетах в Московском Купеческом обществе взаимного кредита, в Московском отделении Государственного банка и в Московском филиале французского банка «Лионский Кредит». К обладанию недвижимостью он особого стремления не проявлял, но всё-таки приобрёл подмосковную дачу в старом сосновом лесу и просторный дом в Ялте.

Его незаметное существование на задворках университетского преподавания внезапно окончилось в осеннем семестре 1912 года: согласно приказу министра народного просвещения, Голубова перевели в разряд штатных преподавателей и назначили директором факультетской терапевтической клиники в связи с кончиной предыдущего её руководителя Голубинина.¹³ На преклонявшихся перед Голубининым ассистентов и ординаторов клиники новый её директор произвёл впечатление врача какой-то иной специальности: «Голубов обходов не делал. Он только читал лекции. Последнее он делал своеобразно, без особой науки, но студенты его слушали, так как он говорил нескучно, с прибаутками и практическими советами».¹⁴

Должность директора клиники, которую возглавлял в прошлом его наставник, Голубов занимал без малого пять лет. Этот период он рассматривал впоследствии как самый счастливый в его жизни. Во время Первой мировой войны он, подражая Захарьину, вознамерился учредить от своего имени студенческую стипендию. Поскольку расходовать собственные деньги ему почему-то не захотелось, он предложил своему бывшему приятелю, коммерции советнику Савве Мамонтову, пожертвовать университету 11 тысяч рублей в облигациях военного займа, с тем чтобы на проценты с этого капитала учащимся выплачивали стипендии

имени мецената и директора факультетской терапевтической клиники в память сорокалетия поступления их на медицинский факультет». Стипендия предназначалась студентам старших курсов медицинского факультета — преимущественно уроженцам Калужской или другой великорусской губернии, русского происхождения и православного вероисповедания.¹⁵

Непеременные условия этого благотворения, наполовину заимствованные у Захарьина и призванные подчеркнуть необыкновенный патристический дарителя, представляли собой, в сущности, конкретную иллюстрацию окончательного преобразования сакральной некогда формулы «православие, самодержавие, народность» в лицемерную скороговорку. Впоследствии Волконский писал в мемуарах: «Смещение принципов национального и религиозного достигло последних пределов уродства. Только православный считался истинно русским и только русский мог быть истинно православным. Вероисповедной принадлежностью человека измерялась его политическая благонадежность».¹⁶ Совершенно не обращая внимания на полное вырождение первостепенной идеологической догмы, Министерство народного просвещения в ноябре 1916 года разрешило Правлению Московского университета принять означенный капитал, а 31 декабря того же года удостоило Голубова звания заслуженного ординарного профессора.¹⁷

Через три с лишним месяца всё пошло прахом. Приказом по Министерству народного просвещения от 27 апреля 1917 года Голубова, совсем незаметно отметившего 25 лет своей научной и преподавательской деятельности, отрешили от занимаемой должности и перечислили в категорию сверхштатных преподавателей как лицо, не избиравшееся коллегами, назначенное покойным министром Кассо. Более того, его не просто уволили, понизили в звании до сверхштатного ординарного профессора — его отправили в запас на кафедру частной патологии и терапии.¹⁸ Директором факультетской терапевтической клиники медицинский факультет выбрал Плетнёва.

Ещё в 1913 году бездетные супруги Голубовы составили духовные завещания, отказав Московскому университету почти всё своё состояние. Голубов желал только, чтобы после его смерти в Ялте открыли обсерваторию Московского университета, а сотрудников одного изведения поселили в принадлежавшем ему доме. Его жена оставляла университету процентные бумаги стоимостью свыше 100 тысяч рублей с условием, чтобы из этого капитала выдавали ежегодные стипендии имени её мужа студентам русского происхождения и православного вероисповедания, а также периодические премии имени её мужа врачам русского происхождения и православного вероисповедания за лучшие